

□ Альбер Камю. Посторонний □

Перевод Н. Немчиновой

А. Камю. Сочинения.

М., Прометей, 1989, сс. 21-82

OCR: TextShare Ў <http://textshare.da.ru> -----

□ * ЧАСТЬ I * □

Мерсо, мелкий французский чиновник, житель алжирского предместья, получает известие о смерти своей матери. Три года назад, будучи не в состоянии содержать ее на свое скромное жалованье, он поместил ее в богадельню. Получив двухнедельный отпуск, Мерсо в тот же день отправляется на похороны.

□ I □

Итак, я решил поехать двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Пообедал я, как обычно, в ресторане, у Селеста. Там все жалели меня, и Селест сказал: "Мать-то одна у человека". Когда я уходил, все проводили меня до дверей. Я немного растерялся - мне ведь еще надо было зайти к Эмманюэлю позаимствовать черный галстук и нарукавную траурную повязку: у него несколько месяцев тому назад умер дядя.

Богадельня - в двух километрах от деревни. Я дошел до нее пешком. Хотел тотчас же взглянуть на маму. Но сторож сказал, что мне надо сперва повидаться с директором. Пришлось подождать немного, директор был занят. Все это время сторож занимал меня болтовней, а потом я разговаривал с директором: он принял меня в своем кабинете. Директор - низенький старичок с орденской ленточкой в петлице. Он посмотрел на меня своими светлыми глазами, потом пожал мне руку и долго ее не выпускал - я уж и не знал, как высвободиться.

Заглянув в какую-то папку, он сказал:

- Мадам Мерсо поступила сюда три года назад. Вы были единственной ее опорой.

Мне показалось, что он в чем-то упрекает меня, и я пустился было в объяснения. Но он прервал их:

- Вам совсем не нужно оправдываться, дорогой мой. Я ознакомился с личным делом вашей матушки. Вы не могли содержать ее. Ей нужна была сиделка. А вы получаете скромное жалование. В конечном счете у нас ей жилось неплохо.

Я сказал:

- Да, господин директор.

Он добавил:

- Знаете, у нее здесь нашлись друзья, люди ее возраста. У них были общие интересы, непонятные вашему поколению. Вы молоды, ей, вероятно, было скучно с вами.

Он сказал правду. Когда мама жила дома, она целыми днями молчала, только следила за каждым моим движением. В богадельне она первое время часто плакала. Привыкла к дому. А через несколько месяцев стала бы плакать, если б ее взяли из богадельни. Все дело в привычке. Отчасти поэтому я в последний год почти и не навещал мать. Да и жаль было тратить на это воскресные дни, не говоря уж о том, что не хотелось

бежать на автобусную остановку, стоять в очереди за билетом и трястись два часа в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я уже почти не слушал.

Наконец он сказал:

- Я думаю, вы хотите посмотреть на усопшую.

Я молча встал, и он двинулся впереди меня к двери. На лестнице он объяснил:

- У нас есть небольшой морг, и мы перенесли ее туда, чтобы не волновать других.

Всякий раз, как кто-нибудь в богадельне умирает, остальные нервничают два-три дня. Тогда служащим трудно бывает с ними.

Мы прошли через двор, там было много стариков, они беседовали, собравшись кучками. Когда мы проходили мимо них, они умолкали. А за нашей спиной болтовня возобновлялась. Похоже было на приглушенную трескотню попугаев. У двери маленького строения директор расстался со мной.

- Оставляю вас, мсье Мерсо. Я буду в своем кабинете. Если понадобится, пожалуйста, я к вашим услугам. Похороны назначены на десять часов утра. Мы полагали, что таким образом вы сможете провести ночь у гроба покойницы. И вот что еще я хочу сказать: ваша матушка в разговорах со своими компаньонами, кажется, часто выражала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сделал необходимые распоряжения. Но считаю своим долгом поставить вас в известность.

Я поблагодарил его. Однако мама, хоть она и не была атеисткой, при жизни никогда не думала о религии.

Я вошел. Очень светлая комната, с побеленными известкой стенами и застекленным потолком. Вся обстановка - стулья и деревянные козлы. Посередине на козлах - гроб с надвинутой крышкой. На темных досках, окрашенных морилкой, выделялись чуть-чуть вдавленные в гнезда блестящие винты. У гроба дежурила арабка в белом халате и с яркой шелковой повязкой на голове.

Вслед за мной вошел сторож; должно быть, он бежал, так как совсем запыхался. Слегка заикаясь, он сказал:

- Мы закрыли гроб, но я сейчас сниму крышку, чтобы вы могли посмотреть на покойницу.

Он уже подошел к гробу, но я остановил его. Он спросил:

- Вы не хотите?

Я ответил:

- Нет.

Он прервал свои приготовления, и мне стало неловко, я почувствовал, что не полагалось отказываться. Внимательно поглядев на меня, он спросил:

- Почему? - Но без малейшего упрека, а как будто из любопытства.

Я сказал:

- Сам не знаю.

И тогда, потерев седые усы, он произнес, не глядя на меня:

- Что ж, понятно.

У него были красивые голубые глаза и кирпичный цвет лица. Он пододвинул мне стул, затем сел и сам, позади меня. Сиделка встала и направилась к выходу. И тогда сторож сказал мне:

- Это у нее шанкр.

Я не понял, но, взглянув на женщину, увидел, что ниже глаз у нее марлевая повязка. Там, где следовало быть носу, бинт лежал совсем плоско. Лица не было - только белая повязка.

Когда женщина вышла, сторож сказал:

- Я сейчас оставлю вас одного.

Не знаю уж, какой жест я сделал, но сторож все не уходил. Его присутствие за моей спиной смущало меня. Комнату заливал яркий свет. Гудели два шмеля, ударяясь о

стеклянный потолок. Я чувствовал, что меня одолевает дремота. Я спросил сторожа, не оборачиваясь к нему:

- Давно вы здесь?

Он тотчас ответил:

- Пять лет, - как будто ждал моего вопроса.

А затем принялся болтать. Оказывается, он никак не ожидал, что ему придется доживать свой век сторожем богадельни около какой-то деревни Маренго. Ему шестьдесят четыре года, он парижанин. Тут я его прервал: "Ах, вы не здешний?" Потом мне вспомнилось, что, перед тем как провести меня к директору, он говорил со мной о маме: он сказал, что надо поскорее похоронить ее, потому что на равнине стоит дикая жара, особенно в этих краях. И добавил, что жил в Париже и все не может забыть о нем.

- В Париже покойника хоронят на третий, а то и на четвертый день. А здесь это просто невозможно, вы и представить себе не можете, как тут спешат на похоронах, - бегом бегут за катафалком.

И его жена сказала тогда:

- Да замолчи ты! Зачем такие вещи рассказывать?

Старик покраснел и извинился. "Нет, нет, отчего же..." - вступился я за него.

Ведь он рассказывал правду, и мне было интересно.

В морге он сообщил мне, что его определили в богадельню как человека нуждающегося. Но, чувствуя себя еще в силах работать, он попросился на место сторожа. Я заметил, что, значит, он остался жильцом богадельни. Он ответил: "Ну, уж нет..." Меня поразил тон, каким он произносил "они", "эти самые" или (изредка) "старичье", когда говорил об обитателях богадельни, хотя некоторые из них были не старше его. Но разумеется, он занимал совсем другое положение. Он ведь состоял сторожем и в некотором роде был начальником над ними.

В эту минуту вошла сиделка. Уже наступил вечер, над стеклянной крышей быстро сгустилась темнота. Сторож повернул выключатель, и меня ослепил внезапно вспыхнувший свет. Сторож пригласил меня в столовую пообедать. Но я отказался, мне не хотелось есть. Тогда он предложил мне выпить чашку кофе с молоком. Я согласился, так как очень люблю кофе с молоком, и вскоре он принес мне на подносе чашку кофе. Я выпил ее. И тогда мне захотелось покурить. Сперва я подумал, можно ли курить возле гроба. Подумав, решил, что это не имеет значения. Я угостил сторожа сигаретой, и мы с ним покурили.

Потом он сказал:

- Знаете, друзья вашей матушки придут посидеть возле нее, Таков обычай. Мне надо сходить за стульями и за черным кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить одну лампу. Яркий свет отражался от белых стен, и мне резало глаза. Сторож ответил, что одну погасить нельзя, такая уж проводка: или все лампы горят, или все погашены. Я почти уже и не обращал на него внимания. Он вышел, потом вернулся, принес стулья, расставил их. На один стул водрузил кофейник и горку чашек. Потом сел напротив меня, по другую сторону гроба. Сиделка тоже пристроилась на стуле в углу, повернувшись спиной ко мне. Я не видел, что она делает, но по движению ее плеч и рук догадывался, что она вяжет. Было тепло, я согрелся от выпитого кофе; в открытую дверь вливались запахи летней ночи и цветов. Должно быть, я задремал.

Проснулся я от какого-то шороха. Со сна стены морга показались мне невероятно сверкающей белизны. Вокруг не было ни малейшей тени, и каждая вещь, каждый угол, все изгибы вырисовывались так резко, что было больно глазам. Как раз тогда и пришли мамини друзья. Их было человек десять, и все они бесшумно двигались при этом ослепительном свете. Вот они расселись, но очень осторожно - ни один стул не скрипнул. Я смотрел на них и видел так четко, как никогда еще никого не видел, я замечал каждую складочку на их лицах, каждую мелочь в одежде. Однако я не слышал их голосов, и мне как-то не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в передниках,

стянутых в поясе, и от этого у них заметно выступал живот. Никогда раньше я не замечал, какие большие животы бывают у старух. А мужчины почти все были очень худые и держали в руках трости. Меня поразило то, что глаз на их старческих лицах я не видел, - вместо глаз среди густой сетки морщин поблескивал тусклый свет. Пришельцы расселись, и большинство уставилось на меня, шевеля едва заметными губами, провалившимися в беззубый рот, и неловко кивали головой; я не мог понять - здороваются они со мной или это у них просто головы трясутся. Думаю, скорее, что они здоровались. Я обратил внимание, что кивали они, усевшись напротив меня, справа и слева от сторожа. На минуту мне пришла нелепая мысль, будто они явились судить меня.

Немного погодя одна из женщин расплакалась. Она сидела во втором ряду, позади другой женщины, и мне было плохо ее видно. Она плакала долго, всхлипывала, вскрикивала, и мне казалось, что она никогда не кончит. Остальные как будто и не слышали ее. Они сидели понурившись, мрачные и безмолвные, уставившись в одну точку: кто смотрел на гроб, кто на свою палку или на что-нибудь еще. Та женщина все плакала. Меня это очень удивляло - какая-то незнакомая старуха. Мне хотелось, чтобы она перестала. Но я не решался успокаивать ее. Сторож наклонился и заговорил с ней, но она отрицательно покачала головой, что-то пролепетала и опять стала плакать и равномерно всхлипывать. Тогда сторож обошел гроб и сел рядом со мной. Он долго молчал, потом сообщил, не глядя на меня: "Она была очень дружна с вашей матушкой. Говорит, что покойная была здесь единственным близким ей человеком и теперь у нее никого нет".

Прошло много времени. Плакавшая женщина все реже вздыхала и всхлипывала. Зато громко шмыгала носом. Наконец она умолкла. Сон у меня прошел, но я очень устал, да еще болела поясница. Теперь мне было тяжело, что все эти люди молчат. Лишь время от времени я слышал какой-то странный звук и не мог понять, что это такое. В конце концов я догадался, что кое-кто из стариков сосет свои щеки, пгпсп и раздается это удивительное чмокание. Они его не замечали, так как погружены были в свои мысли. Мне даже показалось, что покойница, лежавшая перед ними, ничего для них не значила. Но теперь я думаю, что это было ошибочное впечатление.

Мы все выпили кофе, которое нам подал сторож. А дальше я уж не знаю, что было. Прошла ночь. Помню, как на мгновение я открыл глаза и увидел, что старики спят, тяжело осев на стульях, и только один оперся на набалдашник своей палки, положил подбородок на руки и смотрит на меня в упор, будто ждет не дождется, когда же я проснусь. Потом я опять уснул. Проснулся я из-за того, что очень больно было спине. Над стеклянным потолком брезжил рассвет. Один из стариков проснулся и сразу зашелся кашлем. Он отхаркивался в клетчатый платок, и казалось, что с каждым плевком у него что-то отрывается внутри. Он и других разбудил своим кашлем, и сторож сказал, что уже пора уходить. Старики встали. Всех утомило это бдение у гроба, у всех были серые, землистые лица. К моему удивлению, каждый на прощание пожал мне руку, как будто эта ночь, которую мы провели вместе, не перемолвившись ни словом, сблизила нас.

Я устал. Сторож позвал меня в свою каморку, и я немного привел себя в порядок. Потом я опять выпил очень вкусного кофе с молоком. Когда я вышел, уже совсем рассвело. Над холмами, отделяющими деревню Маренго от моря, в небе тянулись красные полосы. И ветер, налетавший оттуда, приносил запах соли. Занимался ясный, погожий день. Я давно уже не был за городом и с большим удовольствием пошел бы прогуляться, если бы не смерть мамы.

Пришлось ждать во дворе, под платаном. Я вдыхал запах вскопанной земли и уже совсем не хотел спать. А что сейчас делают мои сослуживцы? Встают, конечно, собираются идти в контору - для меня это всегда был самый трудный час. Некоторое время я думал обо всех этих вещах, но меня отвлекло бряканье колокола, звонившего где-то в корпусах богадельни. За ее окнами пошла какая-то суматоха, потом все стихло. Солнце поднялось выше и уже начало припекать мне ноги. Прошел через двор сторож и сказал, что меня зовет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать

довольно много бумаг. Я заметил, что на нем черный пиджак и черные брюки в полоску. Он взял в руки телефонную трубку.

- Служащие из похоронного бюро уже явились. Я сейчас попрошу их закрыть гроб. Хотите в последний раз взглянуть на свою матушку? - Я ответил: "Нет". Тогда он приказал по телефону, понизив голос:

- Фижак, скажите своим людям, пусть начинают.

Затем сообщил мне, что он будет присутствовать на похоронах, и я поблагодарил его. Он сел на письменный стол и, скрестив свои коротенькие ножки, добавил, что кроме меня и его, пойдет еще медицинская сестра. Но стариков и старух не будет: по правилам богадельни ее обитателям не полагалось присутствовать на погребении. Директор позволял им только провести ночь у гроба. "Этого требует человечность", - заметил он. Но в данном случае он дал разрешение одному из друзей мамы проводить ее на кладбище. "Его зовут Томас Перес". И тут директор, улыбнувшись, сказал:

- Вы, конечно, понимаете. Это было немного ребяческое чувство. Но они с вашей мамой были неразлучны. В богадельне над ними подтрунивали, говорили Пересу: "Эта ваша невеста". Он смеялся. Им обоим это доставляло удовольствие. И надо сказать, смерть мадам Мерсо глубоко его опечалила. У меня не хватило духу отказать ему. Но по совету врача, навещающего нас, я ему запретил провести ночь с гроба.

Мы довольно долго молчали. Потом директор встал и, посмотрев в окно кабинета, сказал:

- Уже пришел из Маренго священник. Поспешил немного.

И тут директор предупредил меня, что придется идти пешком минут сорок пять - церковь находится в самой деревне. Мы вышли во двор. Возле морга стоял священник и двое мальчиков - певчие. Один из них держал в руке кадило, а священник, наклонившись, уравнивал длину серебряных цепочек. Когда мы подошли, священник выпрямился. Он назвал меня "сын мой" и сказал мне несколько утешительных слов. Затем он вошел в морг, я последовал за ним.

Я сразу заметил, что винты на крышке гроба уже ввинчены и в комнате стоят четыре человека в черном. Директор сказал мне, что катафалк ждет на дороге. Священник начал читать молитвы. С той минуты все пошло очень быстро. Люди в черном подошли к гробу, накинули на него покров. Священник, служки, директор и я вышли из морга. У двери стояла незнакомая мне дама. Директор представил ей меня: "Мсье Мерсо". Фамилии дамы я не расслышал, только понял, что это медицинская сестра. Она без тени улыбки склонила свое длинное и костлявое лицо. Мы расступились, чтобы пропустить гроб, двинулись вслед за факельщиками, которые несли его, и вышли со двора богадельни. За воротами ждал катафалк - длинный, лакированный, блестящий ящик, похожий на ученический пенал. Рядом застыли распорядитель процессии, маленький человечек в нелепом одеянии, и какой-то старичок актерской внешности. Я понял, что это мсье Перес. Когда гроб вынесли из морга, он снял свою широкополую фетровую шляпу с круглой низкой тульей; на нем был черный костюм (брюки штопором спускались на ботинки); черный галстук, завязанный бантом, казался очень уж маленьким по сравнению с широким отложным воротником белой рубашки; нос Переса был в черных точках, губы дрожали. Седые, совсем белые и довольно пушистые волосы не закрывали ушей, и они поразили меня, эти уйти - какие-то дряблые, почти без кромки да еще багрового цвета, который подчеркивал мертвенную бледность лица. Распорядитель похорон назначил каждому место. Впереди - священник, за ним - катафалк. По углам катафалка - четыре факельщика, за ним - директор и я, а замыкали процессию медицинская сестра и Перес.

В небе сияло солнце. Оно жгло землю, и зной быстро усиливался. Почему-то мы довольно долго ждали, прежде чем тронуться. Я изнемогал от жары в темном своем костюме. Перес надел было шляпу и снова ее снял. Немного повернувшись, я смотрел на него. Директор сказал, что моя мать и этот Перес часто прогуливались тут по вечерам в сопровождении сиделки и доходили до самой деревни. Я посмотрел, какой пейзаж вокруг.

Увидел ряды кипарисов, поднимавшихся к небу над холмами, рыжую и зеленую долину, разбросанные в ней, отчетливо видные домики - и я понял маму. Вечерами эта картина, должно быть, навеивает чувство тихой грусти и покоя. А сейчас сверкает солнце, дрожат струи горячего воздуха и весь этот пейзаж кажется бесчеловечным, гнетущим.

Мы двинулись. И только тогда я заметил, что Перес прихрамывает. Катафалк постепенно набирал скорость, и старик стал отставать. Отстал также один из факельщиков и пошел рядом со мной. Меня удивило, как быстро поднимается в небе солнце. Я вдруг заметил, как вокруг жужжат в поле насекомые и шуршит трава. По щекам у меня стекал пот. Так как я приехал без шляпы, то обмахиваться мог только носовым платком. Факельщик что-то сказал мне, но я не расслышал его слов. Он вытирал свой голый череп носовым платком, который держал в левой руке, а правой приподнимал шляпу. Я переспросил:

- Что вы говорите?

Он повторил, указывая на небо:

- Печет!

Я согласился: "Да". Немного погодя он спросил:

- Кого хороните? Мать?

Я опять сказал:

- Да.

- Старая была?

Я ответил:

- Не очень. - Я не знал в точности, сколько маме лет.

....

Дальше все развернулось так быстро, так уверенно и естественно, что совсем не задержалось в памяти. Помню только, что у въезда в деревню медицинская сестра заговорила со мной. У нее был удивительный голос, совсем не вязавшийся с ее лицом, мелодичный и теплый. Она сказала:

- Если идти потихоньку, рискуешь получить солнечный удар. Но если идти очень уж быстро, разгорячишься, а в церкви прохладно и можно простудиться.

Она говорила верно. Но выбора не было. У меня сохранились еще кое-какие обрывки воспоминаний от этого дня, например лицо Переса, когда он в последний раз догнал нас около деревни. По щекам у него бежали крупные слезы - как видно, он страшно устал да еще нервничал. Но у него было столько морщин, что слезы не стекали. Они сливались вместе, расплывались, покрывая его увядшее лицо блестящей влажной оболочкой. Потом еще была церковь и жители деревни на тротуаре, красные цветы герани, украшавшие могилы на кладбище, обморок Переса (он упал, как сломавшийся паяц), кроваво-красная земля, катившаяся на мамин гроб, белые корешки растений, видневшиеся в ней, и опять какие-то люди, голоса, деревня, ожидание возле кофейни, непрерывное гудение мотора - и моя радость, когда автобус въехал в Алжир и засверкали созвездия его огней. Я подумал тогда, что сейчас лягу в постель и просплю не менее двенадцати часов.

□□□

Проснувшись, я понял, почему у моего патрона был такой недовольный вид, когда я попросил дать мне отпуск на два дня, - ведь сегодня суббота. Я совсем и забыл об этом, но когда встал с постели, сообразил, в чем дело: патрон, разумеется, подсчитал, что я прогуляю таким образом четыре дня (вместе с воскресеньем), и это не могло доставить ему удовольствие. Но ведь я же не виноват, что маму решили похоронить вчера, а не сегодня, да в субботу и в воскресенье все равно мы не работаем. Однако я все же могу понять недовольство патрона.

Встать с постели было трудно: я очень устал за вчерашний день. Потом я занялся бритьем, обдумал за это время, что буду делать, и решил пойти купаться. Я доехал в

трамвае до купален в гавани. Там я поднырнул в проход и выплыл в море. Было много молодежи. В воде я столкнулся с Мари Кардона, бывшей нашей машинисткой, к которой меня в свое время очень тянуло. Кажется, и ее ко мне тоже. Но она скоро уволилась из нашей конторы, и мы больше не встречались. Я помог ей взобраться на поплавок и при этом дотронулся до ее груди. Я еще был в воде, а она уже устроилась загорать на поплавке. Она повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я взобрался на поплавок и лег рядом с нею. Было очень хорошо; я, как будто шутя, запрокинул голову и положил ее на живот Мари. Она ничего не сказала, я так и остался лежать. Перед глазами у меня было небо, голубая и золотистая ширь. Головой я почувствовал, как дышит Мари, как у нее тихонько поднимается и опадает живот. Мы долго лежали так, в полусне. Когда солнце стало припекать очень сильно, Мари бросилась в воду, я - за ней. Я догнал ее, обхватил за талию, и мы поплыли вместе. Она все смеялась. На пляже, пока мы сохли, она сказала: "Я больше загорела, чем вы". Я спросил, не хочет ли она вечером пойти в кино. Она опять рассмеялась и сказала, что не прочь посмотреть какую-нибудь картину с участием Фернанделя. Когда мы оделись, она очень была удивлена, увидев на мне черный галстук, и спросила, уж не в трауре ли я. Я сказал, что у меня умерла мать. Она полубопытствовала, когда это случилось, и я ответил:

- Вчера похоронили.

Она чуть-чуть отпрянула, но ничего не сказала. Мне хотелось сказать: "Я тут не виноват", однако я промолчал, вспомнив, что то же самое сказал своему патрону. Но в общем, это ничего не значило. Человек всегда бывает в чем-то немножко виноват.

К вечеру Мари все позабыла. Фильм был местами забавный, а местами совсем дурацкий. Мари прижималась ко мне, я гладил ее грудь. К концу сеанса я поцеловал ее, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

. В тот же вечер она становится его любовницей. Скоротав весь следующий день у окна своей комнаты, выходящей на главную улицу предместья, Мерсо думает о том, что в его жизни, в сущности, ничего не изменилось.

На следующий день, возвращаясь домой после работы, Мерсо встречает соседей: старика Саламано, как всегда, со своей собакой, и Раймона Синтеса, кладовщика, слывущего сутенером. Синтес хочет проучить свою любовниц, арабку, которая ему изменила, и просит Мерсо сочинить для нее письмо, с тем чтобы заманить на свидание, а потом избить. Вскоре Мерсо становится свидетелем бурной ссоры Раймона с любовницей, в которую вмешивается полиция, и соглашается выступить свидетелем в его пользу.

Патрон предлагает Мерсо новое назначение в Париж, но тот отказывается: жизнь все равно не переменяешь. В тот же вечер Мари спрашивает у Мерсо, не собирается ли он жениться на ней. Как и продвижение по службе, Мерсо это не интересует.

□IV□

..... Мы пошли в кафе, и Раймон угостил меня коньяком. Потом он предложил сыграть партию на бильярде, и я едва не проиграл. Затем он стал звать меня и бордель, но я отказался, потому что не люблю таких заведений. Мы потихоньку вернулись домой, и Раймон сказал мне, как он рад, что проучил любовницу. Я находил, что он очень хорошо ко мне относится, и считал, что мы славно провели вечер.

У подъезда я еще издали увидел старика Саламано. Он казался очень взволнованным. Когда мы подошли, я заметил, что при нем нет собаки. Он озирался, поворачивался во все стороны, заглядывал в темный наш подъезд, бормотал что-то бессвязное и снова оглядывал улицу своими маленькими красными глазками. Раймон спросил у него, что случилось, он не сразу ответил, только глухо пробормотал: "Сволочь! Падаль!" - и продолжал суетиться. Я спросил, где его собака. Он сердито буркнул: "Убежала". И вдруг разразился потоком слов:

- Я, как всегда, повел ее на Маневренное поле. Там было много народу, около ярмарочных балаганов. Я остановился посмотреть на Короля побегов. А когда хотел пойти дальше, ее уж не было. Давно следовало купить ей ошейник потуже. Но ведь я никогда не думал, что эта дрянь вздумает убежать.

Раймон сказал, что, может, собака заблудилась и скоро прибежит домой. Он привел примеры: иногда собаки пробегали десятки километров, чтобы найти своих хозяев. Но, несмотря на эти рассказы, старик волновался все больше.

- Да ведь ее заберут собачники! Вы понимаете? Если б ее ктонибудь себе взял. Но это же невозможно, кто такую возьмет? Она всем противна, у нее болячки. Ее собачники заберут.

Тогда я сказал, что пусть он идет на живодерню и ему там отдадут собаку, только придется заплатить штраф. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тогда он разозлился:

- Платить за эту пакость? Ну уж нет, пусть она подыхает! - И принялся ее ругать. Раймон засмеялся и вошел в подъезд. Вслед за ним поднялся по лестнице и я. На площадке нашего этажа мы расстались. Вскоре я услышал шаги старика Саламано. Он постучался ко мне. Я отворил, он стоял у двери и все извинялся: "Извините за беспокойство. Извините, пожалуйста". Я пригласил его в комнату, но он не зашел. Стоял, глядя на носки своих башмаков, и руки у него дрожали, морщинистые, в цыпках. Не поднимая головы, он спросил:

- Они не отберут ее у меня, мсье Мерсо? Отдадут ее мне? Как же я без нее буду?

Я ответил, что на живодерне держат собак три дня, чтобы хозяева могли их затребовать, а уж после этого срока делают с ними, что хотят. Он молча поглядел на меня. Потом сказал: "Покойной ночи". Он заперся у себя, и я слышал, как он ходит по комнате. Потом заскрипела кровать. По тихим, коротким всхлипываниям, раздававшимся за перегородкой, я понял, что старик плачет. Не знаю почему, но я вспомнил о маме. Однако утром надо было рано вставать. Есть мне не хотелось, и я лег спать без ужина.

□V□

..... У своей двери я обнаружил старика Саламано. Я пригласил его в комнату, и он мне сообщил, что собака потерялась окончательно, на живодерне ее нет. Там ему сказали, что, может быть, она попала под колеса и ее раздавило. Он спросил, нельзя ли навести справки в полицейских участках. Ему ответили, что такие мелкие происшествия там не отмечают, они случаются каждый день. Я посоветовал старику завести себе другую собаку, но он разумно ответил, что привык к той, которая пропала.

Я пристроился на кровати, поджав под себя ноги, а Саламано - на стуле, около стола. Он сидел напротив меня, положив руки на колени, забыв снять с головы свою потрепанную шляпу. Шамкая беззубым ртом, он выбрасывал из-под своих пожелтевших усов обрывки фраз. Он мне уже немного надоел, но от нечего делать я стал расспрашивать его про собаку. К тому же спать мне не хотелось. Оказывается, что он взял ее после смерти жены. Женился он довольно поздно. В молодости хотел пойти на сцену, недаром же в полку играл в водевилях для солдат. Но в конце концов поступил на железную дорогу и не жалеет об этом, так как теперь получает маленькую пенсию. С женой он счастлив не был, но, в общем, привык к ней. Когда она умерла, почувствовал себя очень одиноким. Тогда он попросил у сослуживца щепка. Щенок был совсем еще маленький.

Надо было кормить его из соски. Но ведь у собаки-то жизнь короче, чем у человека, вот они вместе и состарились.

- Скверный был у нее характер, - сказал Саламано. - Мы иной раз цапались. А все-таки хорошая собака.

Я сказал, что она, несомненно, была породистая, и Саламано явно обрадовался.

- Это вы еще не видели ее до болезни, - добавил он. - Какая у нее шерсть была красивая! Просто прелесть.

А когда собака заболела кожной болезнью, Саламано по утрам и вечерам мазал ее мазью. Но по его мнению, не в болезни тут дело, а в старости - от старости же лекарства нет.

Тут я зевнул, и старик заявил, что он сейчас уйдет. Я ему сказал, чтобы он еще посидел и что мне жаль его собаку; он поблагодарил меня. По его словам, моя мама очень любила этого пса. Говоря про маму, он называл ее "ваша матушка". Он высказал предположение, что я очень горюю после ее смерти; я ничего на это не ответил. Тогда он смущенно и торопливо проговорил, что ему известно, как соседи по кварталу меня осуждали, зачем я поместил мать в богадельню, однако мы с ним давно знакомы, и он уверен, что я очень любил маму. Я ответил почему-то, что до сих пор не знал, что меня осуждают, но мне казалось вполне естественным устроить маму в богадельню, так как у меня не хватало средств, чтобы обеспечить уход за ней.

- К тому же, - добавил я, - ей уже давно не о чем было со мной говорить, и она скучала в одиночестве.

- Да, - заметил Саламано, - в богадельне, по крайней мере, друзья-товарищи находятся.

Потом он извинился и ушел. Ему хотелось спать. Жизнь у него теперь совсем переменялась, он не знает, как ему быть, что делать. Впервые за все время нашего знакомства старик словно украдкой протянул мне руку, и я ощутил, какая у него жесткая, корявая кожа. Он слегка улыбнулся и перед уходом сказал:

- Надеюсь, нынче ночью собаки не будут лаять. А то мне все кажется, что это моя...

□VI□

Воскресенье Мерсо собирается провести на берегу моря вместе с Мари и Раймоном в гостях у его приятеля Массона. Подходя к автобусной остановке, Раймон и Мерсо замечают двух арабов, один из которых — брат любовницы Раймона. Эта встреча их настораживает.

После купания и обильного завтрака Массон предлагает друзьям прогуляться по берегу моря. В конце пляжа они замечают двух арабов в синих спецовках. Им кажется, что арабы выследили их. Начинается драка, один из арабов ранит Раймона ножом. Вскоре они отступают и спасаются бегством.

Через некоторое время Мерсо и его друзья снова приходят на пляж и за высокой скалой видят тех же арабов. Раймон отдает Мерсо револьвер, но видимых причин для ссоры нет. Мир как будто сомкнулся и сковал их. Друзья оставляют Мерсо одного. На него давит палящий зной, его охватывает пьяная одурь. У ручья за скалой он снова замечает араба, ранившего Раймона.

Я думал, что, стоит мне только повернуться, уйти, все будет кончено. Но ведь позади был огненный пляж, дрожащий от зноя воздух. Я сделал несколько шагов к ручью. Араб не пошевелился. Все-таки он был еще далеко от меня. Быть может, оттого что на

лицо его падала тень, казалось, что он смеется. Я подождал. Солнце жгло мне щеки, я чувствовал, что в бровях у меня скапливаются капельки пота. Жара была такая же, как в день похорон мамы, и так же, как тогда, у меня болела голова, особенно лоб, вены на нем вздулись, и в них пульсировала кровь. Я больше не мог выносить нестерпимый зной и шагнул вперед. Я знал, что это глупо, что я не спрячусь от солнца, сделав один шаг. Но я сделал шаг, только один шаг. И тогда араб, не поднимаясь, вытащил нож и показал его мне. Солнце сверкнуло на стали, и меня как будто ударили в лоб длинным острым клинком. В то же мгновение капли пота, скопившиеся в бровях, вдруг потекли на щеки, и глаза мне закрыла теплая плотная пелена, слепящая завеса из слез и соли. Я чувствовал только, как бьют у меня во лбу цимбалы солнца, а где-то впереди нож бросает сверкающий луч. Он сжигал мне ресницы, впивался в зрачки, и глазам было так больно. Все вокруг закачалось. Над морем пронеслось тяжелое жгучее дыхание. Как будто разверзлось небо и полил огненный дождь.

Не в силах выносить нестерпимую жару, Мерсо делает шаг вперед, достает револьвер и стреляет в араба

Я весь напрягся, выхватил револьвер, ощутил выпуклость полированной рукоятки. Гашетка подалась, и вдруг раздался сухой и оглушительный звук выстрела. Я стряхнул капли пота и сверканье солнца. Сразу разрушилось равновесие дня, необычайная тишина песчаного берега, где только что мне было так хорошо. Тогда я выстрелил еще четыре раза в неподвижное тело, в которое пули вонзались незаметно. Я как будто постучался в дверь несчастья четырьмя короткими ударами.

□ * ЧАСТЬ II * □

□ I □

Мерсо арестован, его несколько раз вызывают на допрос. Он считает свое дело очень простым, но следователь и адвокат придерживаются другого мнения.

Следователь, показавшийся Мерсо неглупым и симпатичным человеком, не может понять мотивы его преступления. Он заводит с ним разговор о Боге, но Мерсо признается в своей неверии. Собственное же преступление вызывает у него лишь досаду.

Следствие продолжается одиннадцать месяцев. Мерсо понимает, что тюремная камера стала для него домом и жизнь его остановилась. Вначале он мысленно все еще находится на воле, но после свидания с Мари в его душе происходит перемена. Томясь от скуки, он вспоминает прошлое и понимает, что человек, проживший хотя бы один день, сможет провести в тюрьме хоть сто лет — у него хватит воспоминаний. Постепенно Мерсо теряет понятие о времени.

Да, пришлось перенести некоторые неприятности, но я не был очень уж несчастным. Важнее всего, скажу еще раз, было убить время. Но с тех пор, как я научился вспоминать, я уже не скучал. Иногда я вспоминал свою спальню: воображал, как выхожу из одного угла и, пройдя по комнате, возвращаюсь обратно; я перебирал в уме все, что встретил на своем пути. Вначале я быстро справлялся с этим. Но с каждым разом путешествие занимало все больше времени. Я вспоминал не только шкаф, стол или полочку, но все вещи, находившиеся там, и каждую вещь рисовал себе во всех подробностях: цвет и материал, узор инкрустации, трещинку, выщербленный край. Всячески старался не потерять нить своей инвентаризации, не забыть ни одного предмета. Через несколько недель я уже мог часами описывать все, что было в моей спальне. Чем больше я думал над этим, тем больше позабытых или находившихся в пренебрежении

вещей всплывало в моей памяти. И тогда я понял, что человек, проживший на свете хотя бы один день, мог бы без труда провести в тюрьме сто лет. У него хватило бы воспоминаний для того, чтобы не скучать. В известном смысле это было благотельно.

На помощь приходил также сон. Вначале я плохо спал по ночам, а днем совсем не ложился. Но постепенно я стал лучше спать ночью и мог спать днем. Признаться, в последние месяцы я спал по шестнадцати, по восемнадцати часов в сутки. Значит, оставалось еще как-то убивать время в течение шести часов, но этому помогали арестантские трапезы, удовлетворение естественных потребностей и история одного чеха.

Долгие часы сна, воспоминания, чтения газетной заметки, чередование света и мрака - так время и шло. Я слышал, что в конце концов в тюрьме теряется понятие о времени. Но я не очень-то понимал, что это значит. Я ведь не представлял себе, какими длинными и вместе с тем короткими могут быть дни. Тянется-тянется день, и не заметишь, как он сливается с другим днем. И названия их теряются. "Вчера" и "завтра" - только эти слова имели для меня смысл.

Однажды сторож сказал мне, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, я поверил, но осознать этого не мог. Для меня тянется все один и тот же день, хлынувший в мою камеру и заставлявший меня делать одно и то же. Когда сторож ушел, я посмотрел на себя в доньшко своего жестяного котелка. Мне показалось, что мое отражение оставалось серьезным, даже когда я пытался улыбнуться ему. Я покачал котелок перед собой. Улыбнулся, лицо мое сохраняло суровое и грустное выражение. День был на исходе, наступал час, о котором мне не хочется говорить, - час безымянный, когда из всех этажей тюрьмы поднимался вечерний шум и вслед за ним - тишина. Я подошел ближе к высоко прорезанному окошечку и при последних отблесках света еще раз посмотрел на свое отражение. Оно попрежнему казалось серьезным, оно, несомненно, таким и было в эту минуту. Как раз тут я впервые за несколько месяцев ясно услышал свой голос. Я узнал в нем тот самый голос, который уже много дней звучал в моих ушах, и понял, что все это время я вслух разговаривал сам с собой. Мне вспомнилось вдруг то, что сказала медицинская сестра на похоронах мамы. Нет, выхода не было, и никто не может себе представить, что такое сумерки в тюрьме.

□III□

В сущности, первое лето очень быстро сменилось вторым. Я знал, что с наступлением знойных дней произойдет что-то новое. Мое дело назначено было к слушанию в последней сессии суда присяжных, а она заканчивалась в последних числах июня. Судебное разбирательство открылось в самый разгар лета, когда в небе сверкало солнце. Адвокат заверил меня, что процесс займет два-три дня, не больше.

- Ведь суд будет торопиться, - добавил он, - так как ваше дело не самое важное на этой сессии. Сразу же после него будет разбираться отцеубийство.

За мной пришли в половине восьмого утра и в тюремной машине доставили в здание суда. Два жандарма ввели меня в маленькую томную комнату, где пахло затхлостью. Мы ждали, сидя около двери, за которой слышались голоса, оклики, стук передвигаемых стульев, шумная возня, напоминавшая мне празднества в нашем предместье, когда после концерта зал готовят для танцев. Жандармы сказали, что надо ждать, когда соберутся судьи, и один жандарм одолжил мне сигарету, от которой я отказался. Немного погодя он спросил меня:

- Ну как, страшно?

Я ответил, что нет. Даже в некотором роде интересно; ведь я никогда не бывал на судебных процессах - не случалось.

- Да, - заметил второй жандарм, - но в конце концов это надоедает.

В душном зале набивается много народу, но Мерсо не в состоянии различить ни одного лица. У него возникает странное впечатление, будто

он лишний, словно непрошенный гость. После долгого допроса свидетелей: директора и сторожа богадельни, Раймона, Массона, Саламано и Мари, прокурор произносит гневное заключение: Мерсо, ни разу не заплакав на похоронах собственной матери, не пожелав взглянуть на покойную, на следующий день вступает в связь с женщиной и, будучи приятелем профессионального сутенера, совершает убийство по ничтожному поводу, сводя со своей жертвой счеты. По словам прокурора, у Мерсо нет души, ему недоступны человеческие чувства, неведомы никакие принципы морали. В ужасе перед бесчувственностью преступника прокурор требует для него смертной казни.

В своей защитительной речи адвокат Мерсо, напротив, называет его честным тружеником и примерным сыном, содержавшим свою мать, пока это было возможно, и погубившим себя в минутном ослеплении. Мерсо ожидает тягчайшая кара — неизбежное раскаяние и укоры совести.

□IV□

Даже сидя на скамье подсудимых, всегда бывает интересно услышать, что говорят о тебе. Могу сказать, что и в обвинительной речи прокурора и в защитительной речи адвоката обо мне говорилось много, но, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. И так ли уж были отличны друг от друга речи обвинителя и защитника? Адвокат воздевал руки к небу и, признавая меня виновным, напирал на смягчающие обстоятельства. Прокурор простирает руки к публике и громил мою виновность, не признавая смягчающих обстоятельств. Кое-что меня смутно тревожило. И несмотря на то, что я мог повредить себе, меня порою так и подмывало вмешаться, тогда адвокат говорил мне: "Молчите, это будет для вас лучше!" Вот и получилось, что мое дело разбиралось без меня. Все шло без моего участия. Мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения. Время от времени мне очень хотелось прервать этих говорунов и спросить: "А где тут подсудимый? Он ведь не последняя фигура и должен сказать свое слово!" Но, поразмыслив, я находил, что сказать мне нечего. Да и надо признаться, интерес, который вызывают судебные выступления, не долго длится. Например, обвинительная речь прокурора очень скоро мне надоела. Поразили меня и запомнились только отдельные фразы, жесты или патетические тирады, совершенно, однако, оторванные от общей картины.

Суть его обвинения, если я правильно понял, была в том, что я совершил предумышленное убийство. По крайней мере он пытался это доказать. Он так и говорил:

- Я докажу это, господа, двояким способом. Сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том мрачном свете, который даст мне психология преступной души обвиняемого.

Он перечислил вкратце эти факты, начиная со смерти мамы. Напомнил о моей бесчувственности, о том, что я не знал, сколько лет было маме, и о том, что я купался на другой день в обществе женщины, ходил в кино смотреть Фернанделя и, наконец, вернулся домой, приведя с собой Мари. Я не сразу понял, что речь идет о ней, потому что он сказал "свою любовницу", а для меня она была Мари. Затем он перешел к истории с Раймоном. Я нашел, что его рассуждения не лишены логики. То, что он утверждал, было правдоподобно. По сговору с Раймоном я написал письмо, чтобы завлечь его любовницу в ловушку, где ее ждали побои "со стороны человека сомнительной нравственности". Я затеял на пляже ссору с противниками Раймона. Раймону были нанесены ранения. Я попросил у него револьвер. Вернулся на пляж один, чтобы воспользоваться этим оружием. Я замыслил убить араба и сделал это. И "чтобы быть уверенным, что дело

сделано хорошо", я после первого выстрела всадил в простертое тело еще четыре пули - спокойно, уверенно и, так сказать, "но зрелом размышлении".

- Вот, господа, - сказал прокурор, - я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к убийству, совершенному им вполне сознательно. Я на этом настаиваю, - сказал он. - Ведь здесь речь идет не о каком-нибудь обыкновенном убийстве, о преступлении в состоянии аффекта, в котором мы могли бы найти смягчающее обстоятельство. Нет, подсудимый умен, господа, это несомненно. Вы слышали его, не правда ли? Он умеет ответить. Ему попятно значение слов. И про него нельзя сказать, что он действовал необдуманно.

Итак, я услышал, что меня считают умным. Но я не очень хорошо понимал, почему столь обыкновенное человеческое качество может стать неопровержимым доказательством моей преступности. Право, это так меня поразило, что я уже не слушал прокурора до того момента, когда он произнес:

- Но выразил ли он сожаление? Нет, господа. В течение многих месяцев следствия ни разу этого человека не взволновала мысль, что он совершил ужасное злодеяние.

Тут он повернулся ко мне и, указывая на меня пальцем, принялся укорять меня с каким-то непонятным неистовством. Разумеется, я не мог не признать, что кое в чем он прав: ведь я и в самом деле не очень сожалел о своем поступке. Но такое озлобление прокурора меня удивляло. Мне хотелось попытаться объяснить ему искренне, почти что дружески, что я никогда ни в чем не раскаивался по-настоящему. Меня всегда поглощало лишь то, что должно было случиться сегодня или завтра. Но разумеется, в том положении, в которое меня поставили, я ни с кем не мог говорить таким топом. Я не имел права проявлять сердечность и благожелательность. И я решил еще onqksx`r| прокурора, так как он стал говорить о моей душе.

Он сказал, что попытался заглянуть в мою душу, но не нашел ее. "Да, господа присяжные заседатели, не нашел". Он говорил, что у меня в действительности нет души и ничто человеческое, никакие принципы морали, живущие в сердцах людей, мне недоступны.

- Мы, конечно, не станем упрекать его за это. Можно только пожалеть, что у него нет души, - ведь раз ее нет, ее не приобретешь. Но суд обязан обратить терпимость, эту пассивную добродетель, в иную, менее удобную, но более высокую добродетель - правосудие. Особенно в тех случаях, когда такая пустота сердца, какую мы обнаружили у этого человека, становится бездной, гибельной для человеческого общества.

После перерыва председатель суда оглашает приговор: «от имени французского народа» Мерсо отрубят голову публично, на площади.

И тогда у всех на лицах я прочел одно и то же чувство. Мне кажется, это было уважение. Жандармы стали очень деликатны со мной. Адвокат положил свою ладонь на мою руку. Я больше ни о чем не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я что-нибудь добавить. Я подумал и сказал: "Нет". И тогда меня увели.

□V□

Мерсо начинает размышлять о том, удастся ли ему избежать механического хода событий. Он не может согласиться с неизбежностью происходящего. Вскоре, однако, он смиряется с мыслью о смерти, поскольку жизнь не стоит того, чтобы за нее цепляться, и раз уж придется умереть, то не имеет значения, когда и как это случится. Перед казнью в камеру Мерсо приходит священник. Но напрасно он пытается обратить его к Богу. Для Мерсо вечная жизнь не имеет никакого смысла, он не желает тратить на Бога оставшееся ему время, поэтому он изливает на священника все накопившееся негодование.

.И тогда, не знаю почему, у меня что-то оборвалось внутри. Я заорал во все горло, стал оскорблять его, я требовал, чтобы он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порывах негодования и злобной радости я изливал на него то, что всколыхнулось на дне души моей. Как он уверен в своих небесах! Скажите на милость! А ведь все небесные блаженства не стоят одного единственного волоска женщины. Он даже не может считать себя живым, потому что он живой мертвец. У меня вот как будто нет ничего за душой. Но я-то хоть уверен в себе, во всем уверен, куда больше, чем он, - уверен, что я еще живу и что скоро придет ко мне смерть. Да, вот только в этом я и уверен. Но по крайней мере я знаю, что это реальная истина, и не бегу от нее. Я был прав, и сейчас я прав и всегда был прав. Я жил так, а не иначе, хотя и мог бы жить иначе. Одного я не делал, а другое делал. И раз я делал это другое, то не мог делать первое. Ну что из этого? Я словно жил в ожидании той минуты бледного рассвета, когда окажется, что я прав. Ничто, ничто не имело значения, и я хорошо знал почему. И он, этот священник, тоже знал почему. Из бездны моего будущего в течение всей моей нелепой жизни подымалось ко мне сквозь еще не наставшие годы дыхание мрака, оно все уравнивало на своем пути, все доступное мне в моей жизни, такой ненастоящей, такой призрачной жизни. Что мне смерть "наших ближних", материнская любовь, что мне бог, тот или иной образ жизни, который выбирают для себя люди, судьбы, избранные ими, раз одна-единственная судьба должна была избрать меня самого, а вместе со мною и миллиарды других избранников, даже тех, кто именуется, как господин кюре, моими братьями. Понимает он это? Понимает? Все кругом - избранные. Все, все - избранные, но им тоже когда-нибудь вынесут приговор. И господину духовнику тоже вынесут приговор. Будут судить его за убийство, но пошлют на смертную казнь только за то, что он не плакал на похоронах матери. Что тут удивительного? Собака старика Саламано дорога ему была не меньше жены. Маленькая женщина-автомат была так же во всем виновата, как парижанка, на которой женился Массон, или как Мари, которой хотелось, чтобы я на ней женился. Разве важно, что Раймон стал моим другом так же, как Селест, хотя Селест во сто раз лучше его? Разве важно, что Мари целуется сейчас с каким-нибудь новым Мерсо? Да понимает ли господин кюре, этот благочестивый смертник, что из бездны моего будущего... Я задыхался, выкрикивая все это. Но священника уже вырвали из моих рук, и сторожа грозили мне. Он утихомирил их и с минуту молча смотрел на меня. Глаза у него были полны слез. Он отвернулся и вышел.

И тогда я сразу успокоился. Я изнемогал и без сил бросился на койку. Должно быть, я заснул, потому что увидел над собою звезды, когда открыл глаза. До меня доносились такие мирные, деревенские звуки. Виски мои оведала ночная прохлада, напоенная запахами земли и моря. Чудный покой тихой летней ночи хлынул в мою грудь, как волна прилива. И в эту минуту где-то далеко во мраке завывали паровозные гудки. Они возвещали, что корабли отплывают в далекий мир, который был мне теперь (и уже навсегда) безразличен. Впервые за долгий срок я подумал о маме. Мне казалось, что я понимаю, почему она в конце жизни завела себе "жениха", почему она играла в возобновление жизни. Ведь там, вокруг богадельни, где угасали человеческие жизни, вечера тоже были подобны грустной передышке. На пороге смерти мама, вероятно, испытывала чувство освобождения и готовности все пережить заново. Никто, никто не имел права плакать над ней. И как она, я тоже чувствую готовность все пережить заново. Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как он подобен мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым. Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти.